

В. А. СОЛЛОГУБ

A decorative horizontal line with ornate, symmetrical flourishes at both ends, resembling stylized scrollwork or floral motifs.

ИЗБРАННАЯ
ПРОЗА

Владимир Александрович Соллогуб

История двух калош

Повесть жизни бедного немца-музыканта на родине и в столице Российской империи.

Содержание

#1	0005
Предисловие	0006
Приглашение на бал	0009
Детство	0015
Молодость	0022
Княгиня	0028
Борьба	0041
Товарищ	0045
Бал	0052
Настройщик	0059
Визиты	0064
Концерт	0071
Письмо	0076
For wenige	0082
Г-н Федоренко	0088
Одно за одним	0091
Судьба	0098

**Владимир Александрович
Соллогуб
История двух калош[1]**

Посвящено М. Ф. Козловой[2]

Предисловие

Pereant qui ante nos nostra dixerunt.
Goethe[3]

Я так много в жизни свое ходил пешком, я столько в жизни своей переносил калош, что невольно вселилась в душе моей какая-то особенная нежность ко всем калошам. Не говоря уже о неоспоримой их пользе, как не быть тронутым их скромностью, как не пожалеть о горькой их участи? Бедные калоши! Люди, которые исключительно им обязаны тем, что они находятся на приличной ноге в большом свете, прячут их со стыдом и неблагодарностью в уголках передней; а там они, бедные, лежат забрызганные, затоптанные, в обществе лакеев, без всякого уважения. И как, скажите, не позавидовать им блестящей участи своих однослуживок, счастьем избалованных лайковых перчаток? Их то и дело что на руках носят; им слава и почтение; они жмут в мазурке чудную ручку, они обхватывают в вальсе стройный стан, и не они ли отличают в большом свете истинное достоинство каж-

дого человека и степень его аристократизма? О перчатках говорят в лучших обществах между погодою и театром, говорят дамы, говорят графини, говорят княгини, молодые и старые, а более молодые.

О бедных калошах никто не говорит, или изредка замолвит о них стыдливое словечко бедный чиновник на ухо товарищу, подняв шинель и шагая по грязи...

Ей-богу, меня всякий раз досада разбирает, когда я подумаю, как странно все разделено на свете! Сколько людей... Сколько калош, хотел я сказать, затоптанных и забытых, тогда как лайковые перчатки с своею блестящею наружностью, с своею ничтожною пользою блаженствуют вполне!

Многие прежде меня писали мелкие биографии разных вещиц: булабочек, лорнетов, шалей и тому подобного. Но они или приписывали им нежные чувства, весьма неуместные в булавках и лорнетах, или вооружали их испытующим оком, сердито следящим за грешными мирскими слабостями. Цель моя другая. Я не представляю вам разрозненных листков журнала какой-нибудь калоши сан-

тиментальной, непонятой каким-нибудь жестокосердым сапогом. Я не стану описывать вам походжения калоши сардонической, наблюдающей все нравы без исключения, даже нравы тех гостиных, куда ее не пускают. Будьте спокойны! Это все слишком старо и было бы в подражательном вкусе; а век наш, в особенности век молодых литераторов, самостоятелен и нов. Я расскажу вам просто историю двух калош кожаных.



Приглашение на бал

Иоганн-Петер-Аугуст-Мариа Мюллер, «сапожных дел мастер», по вывеске «приехавший из Парижа», а действительно из окрестностей Риги, проснулся однажды очень рано, протянул руки, поправил бумажный колпак, упавший ему на нос, и толкнул жену под бок.

— Вставай, Марья Карловна! Дай мне бритвы, да черные брюки, да белую манишку. Надо отнести надворному советнику[4] Федоренке пару калош, которые обещал я ему к пятнице (а эта пятница была тому две недели).

Я побреюсь, а ты вели подмастерье Ваньке вычистить калоши почище, как зеркало. Слышишь ли? — прибавил с гордостью сапожник. — Пусть полюбуется да посмотрит: работа не русская какая-нибудь, работа чисто немецкая, без ошибки и фальши; не будь я Иоганн-Петер-Аугуст...

Он не успел окончить, как Марья Карловна уже возвратилась с ужасом на лице, с калошами в руках.

— Ванька был пьян вчера, — кричала

она, — калоши испорчены!

Бритва упала из рук Мюллера.

— Cott schwer Noth![5] Калоши надворного советника! Solche allerliebste Kaloschen!..[6] — Он их выхватил из рук жены. Действительно, делать было нечего. Калоши были испорчены. Правая подрезана сбоку и проколота шилом, а левая облита чем-то нехорошим.

Мюллер был в бешенстве.

— Ванька! — закричал он громовым голосом. — Что это такое?..

Полуглупая-полулукавая фигура Ваньки с заспанными глазами, в затрапезном халате показалась в дверях, почесывая затылок.

— Что это такое? — продолжал грозный сапожник, указывая на калоши.

— Не могу знать.

— Как «не могу знать»? Я говорю, что такое?

— А почему же я знаю?

Мюллер, вне себя от гнева, ударил трижды калошами по щекам Ваньки. Ванька завыл, как теленок; Мюллер успокоился.

«Ну, что же мне делать? — подумал он. — Не бросить же калоши! Надворному советнику»

ку Федоренке отнести их невозможно: он знаток. Даром пропадут... Хоть бы сбыть кому-нибудь... Да бишь! О, намедни приходил музыкант заказывать калоши. Разве ему отнести? Да! да ведь эти музыканты... с них денег не жди: народ известный! А!.. — заключил сапожник, хлопнув себя по лбу. — В воскресенье рожденье Марьи Карловны».

Он завернул калоши в бумажный платок, бросил их под мышку и, надев шляпу набок, потому что он между всеми сапожниками слыл щеголем, вышел на улицу.

С Малой Морской, где жил Мюллер, он поворотил к Синему мосту и пошел в Коломну. [7] В Коломне остановился он у высокого дома с нечистыми воротами, перед которыми дворник играл на балалайке.

— Здесь живет господин Шульц? — спросил Мюллер.

Дворник посмотрел на немца и, отворотившись, отвечал:

— Таких нет.

— Господин Шульц, музыкант.

— Есть какой-то немец, музыкант, что ли, кто их там разберет, этих всех музыкантов!

Ступайте в самый верх. Он — так он, а не то ищите в другом месте.

Вскарабкавшись по узкой лестнице под самую крышу дома, Мюллер остановился у дверей, на которых была прибита бумажка с надписью: «Karl Schultz, musicus»[8].

Мюллер отворил двери.

Молодой человек с бледным лицом и впалыми глазами сидел, опершись обоими локтями на столик простого дерева, и руками держался за голову. На столике лежало несколько книг и писанные ноты. В комнате все было пусто, лишь в углу несколько соломенных стульев изображали кровать. Стены, когда-то выбеленные, наклонялись под скат крыши. Впрочем, в комнате было пусто и мрачно: тут была нищета, нищета ужасная, во всей своей наготе. Неожиданная картина поразила Мюллера. Он остановился у дверей и не понимал, какое им овладело чувство. Добрый немец, пораженный такою бедностью, оробел и с усилием прошептал вполголоса:

— Калоши ваши готовы...

Молодой человек обернулся и печально

посмотрел на сапожника.

— Я вам говорил, — отвечал он, — что я сам за ними зайду. Теперь у меня нет денег.

— Помилуйте, господин Шульц. Зачем вам себя беспокоить? Сочтемся после. А теперь погода сырая, калоши нужны...

Бедный музыкант встал с своего места и взял Мюллера за руку.

— Вы добрый человек! — сказал он.

Мюллер смешался. Совесть его мучила. Он хотел бежать от искушенья. Однако как быть? В воскресенье рожденье Марьи Карловны. Будут гости.

— Господин Шульц, — прошептал он опять, повертывая шляпу в руках, — у меня... до вас... просьба. В воскресенье рожденье жены моей, Марьи Карловны. У нас будут гости. Я желал бы доставить им приятное занятие. Марья Карловна очень любит танцевать, а играть у нас некому. А так, без танцев, время проходит скучно. Да вот и сапожника Премфефера жена без танцев жить не может.

— В котором часу? — спросил Шульц.

— Да часов в шесть, — продолжал, кланяясь, Мюллер, — часов в шесть. Мы постараем-

ся, чтобы вам не было скучно. А об калошах, пожалуйста, не думайте. Это безделица!.. Ну уж будет сюрприз Марье Карловне!

Обрадованный Мюллер побежал в восторге домой и во всю дорогу напевал разные вальсы и перигурдины[9].

А бедный музыкант упал на соломенный свой стул, закрыл лицо руками и горько заплакал. «Вот до чего я дожил! — подумал он. — Из пары калош должен я целый вечер играть на именинах у сапожника!..»

Детство

Карл Шульц родился в Германии. Отец его, зажиточный дворянин с немецкою спесью, жил недалеко от Дюссельдорфа в своем имении, где на старости лет он, от нечего делать, сделался хозяином. Жена его давно уже скончалась, а домом управляла ключница, сердитая и злая, под названием Маргариты. Вообще, как нет ничего глупее глупого француза, так нет ничего злее и хуже сердитой немки. Маргарита была женщина лет сорока, высокая, худая, с багровыми щеками, гроза целого дома.

Главное очарованье ее для старого Шульца составляло особое искусство стряпать разные кушанья с изюмом и черносливом, до которых старик был большой охотник.

Мало-помалу прибрала она все хозяйство в руки, сделалась госпожой в доме и выслала всех своих противников.

Но в особенности не любила Маргарита маленького Карла, как живое препятствие, которое всех труднее было отстранить. Карл учился в Дюссельдорфе в городском училище,

и учился, сказать правду, довольно дурно, как все дети с пылким воображением. Признаться, скучно затверживать глаголы, склонять имена существительные и марать грифельные доски, когда в голове вертятся волшебные замки, рыцари в золотых латах и все чудные видения ребяческой мечты. Карл учился дурно: учителя жаловались; Маргарита уверяла старого Шульца, что сын его негодяй, по-веса, годный только для виселицы.

Возвращаясь из школы своей, Карл только и слышал, что толки о картофеле да крупную брань. Это ему надоело: он был одарен душой любящей и нежной; но в то же время гордость его доходила до упрямства. Он был из числа тех характеров, над которыми всеильно слово любви, а угроза немоцна.

Чем более его бранили, тем более он отвращался от наук, и слова Маргариты действительно бы оправдались, если б странный случай не открыл ему нового направления.

Однажды он шел по дюссельдорфским улицам с заплаканными глазами: отец ударил его поутру палкой, а Маргарита вытолкала его из дома! Бедный мальчик, с грамматикой

под мышкой, остановился перед церковью и призадумался. Участь его была горька: он был один в начале жизни, а душа его просила поддержки. Что делать бедному мальчику? Кто сжалятся над ним? Невольно вошел он в церковь, чтоб рассеять свое горе, сел на лавку и начал слушать проповедь. Проповедь кончилась. Орган величественно зазвучал. Мальчик поднял голову и начал слушать. Новое чувство обдало его невыразимой теплотой. Мало-помалу перед ним начал разворачиваться новый, необъятный мир. Голова его терялась. Ему показалось, что в душе его стало широко, что будто ум его ребяческий мужал с каждым звуком. Он задрожал и заплакал. Назначение его ему было открыто, утешение найдено, цель достигнута: он был музыкантом.

Обедня кончилась. Карл дожидался на паперти, пока маленький органист, в напудренном парике, с очками и бесконечным носом, выкарабкался с верха по крутой лестнице. Карл его остановил.

— Вы играли?

— Я.

— Вы славно играли!

Старичок засмеялся. Нос его показался еще длиннее, а очки на носу запрыгали.

— Я хочу учиться музыке! — подхватил Карл.

— Учись.

— Где вы живете?

— Рядом.

— Я пойду с вами, пойду к вам, буду учиться у вас. Вы меня сделаете музыкантом?

Большой нос опять засмеялся. Карл пошел за ним.

Органист, смеясь, посадил его за маленькие клавикорды — единственное украшение безроскошной комнатки — и начал объяснять ему музыкальные интервалы и все сухое предисловие поэзии звуков. Мальчик едва переводил дыхание; слова органиста врезывались в его памяти; он слушал с почтением и вдруг вскочил с своего стула и обнял старика с большим носом, как он никогда еще никого не обнимал. Старик был тронут. Он был тоже одинок; ему тоже было не с кем душу отвести.

Странное сходство сблизило старика с ребенком. Оба были отчуждены от света — один

в начале своей жизни, другой уже при конце; в их положении было что-то взаимное и родственное. Старичок прижал мальчика к сердцу своему, как отец, долго не выдавший своего сына.

С тех пор они были неразлучны; с тех пор маленький Карл каждый день находил средства убежать из школы, чтобы посетить своего учителя, чтобы послушаться, чтобы надышаться его восторженной речью. Старичок был из числа тех людей, которые, пристрастясь к одной мысли, породнившись с одним чувством, ими только дышат и живут: музыка была его мир, его собственность — то, что воздух для птицы. О ней говорил он с почетом, как о таинстве, с любовью, как о верном друге. Но никогда старичок так не воспламенялся, никогда очки так высоко не прыгали на бесконечном носу его, как когда он заговаривал об ученом своем друге, о великом Бетховене[10]. Они учились вместе у Фан-Эндена[11], жили вместе, были вместе молоды, а потом расстались для того, чтобы бедному органисту умереть в безвестности, в уголке своей церкви, для того, чтобы Бетховену

умереть в горе и нищете, увенчанному двойным венком несчастья и славы. Это благоговение к имени великого музыканта, эту чистую страсть к возвышенной музыке старичок вполне передал Карлу. Посвященный в новое таинство, Карл выучился читать на невидимых скрижалях, говорить языком, доступным не для многих, и возвышать душу до сверхземных созерцаний. С тех пор жизнь его приняла новое направление, с тех пор школьная жизнь показалась ему еще более несносною и отвратительною.

Бедный мальчик был жертвою избытка сил своей души. Он подумал, что одной поэзии для жизни достаточно; он подавил ум чувством, существенность — воображением. Он ошибочно понял свое значение — и погубил себя в будущем. Учители его с новым негодованием объявили старику Шульцу, что сын его по целым дням пропадает без вести и что тетради его вместо латинских переводов и рассуждений о римской истории все исписаны диезами и бемолями. Маргарита торжествовала.

Старик Шульц запретил Карлу показы-

ваться ему на глаза. С тех пор возврат на дольную стезю был для мальчика невозможен. Я говорил выше: слово любви могло бы остановить его, переломить его упрямство; угроза только более и более его раздражала: он не просил прощения, он не обещал исправиться — бросил книги в окно и сделался музыкантом.

Молодость

Так прошло несколько лет.

Мальчик сделался юношей, органист сделался дряхлым стариком. Жизненные силы его постепенно стали ослабевать; кончина его приближалась. Наконец, после одного большого праздника, где он непременно хотел сам играть на органе и где играл он с глубоким вдохновением, принесли его без чувств домой, и через несколько часов Карл стоял уже, задумчивый и бледный, над его охладевшим трупом. Смерть органиста была вторая торжественная минута в жизни Карла. После первого восторга наступила первая задумчивость. Задумался Карл о бренности земной, об этом странном составе огня и грязи, который называют человеком. В первый раз он с удивлением и ужасом заметил, что в жизни нет ничего существенного, что жизнь сама по себе ничто, что онз только тень, тень неосязаемая чего-то невидимого и непонятного. Ему стало холодно и страшно...

О, как дорого дал бы он тогда, чтобы поплакать на груди существа любимого, чтоб уто-

пить в слезах любви новое, ядовитое чувство, которое начало вкрадываться в его душу! Он был снова один, совершенно один. Мысль эта его душила. Он понимал, что в минуту скорби одно только и есть утешение — это созвучие другой души, которая страдает одинаким горем. Он вспомнил тогда об отце своем; он побежал к отцу, чтоб броситься к его ногам, чтобы просить его пощады и благословения, чтоб вымолить его отеческую любовь, чтобы выплакать его отеческую ласку. В доме у отца нашел он торжественную суматоху: по лестнице бегали слуги, в гостиной играла музыка; старик праздновал свадьбу свою с Маргаритой. Он выслал сыну небольшой мешок с деньгами и запрещение к нему показываться.

Что делать Карлу? С сердцем, глубоко уязвленным, он убежал от родительского дома, и убежал далеко от Дюссельдорфа, без цели и желаний.

В жизни бывают бедствия двоякого рода: бедствия положительные и бедствия отрицательные. Первые доступны всем, понятны всякому: потеря имения, смерть ближнего, сердитая жена, мучительная болезнь. Но есть

другие бедствия, бедствия, никем не видимые и непонятные, которые сжимают душу, которые уязвляют сердце, давят как камень и душат как домовый. Это бедствия отрицательные, в которых нельзя отдать отчета, которые скрываешь от всех. Мы стараемся и сами укрыться от них, как от хищного зверя; мы призываем в помощь все, что прежде нам ярко сияло, все, что мы горячо и свято любили; мы обращаемся ко всем верованиям нашей души, ко всем светлым нашим воспоминаниям...

Шульц вспомнил о Бетховене. Благодаря покойному органисту Бетховен был для него венцом создания, высшим выражением всего, что только может быть музыкального и поэтического на земле. Он мысленно окружал его лазурным сиянием; он веровал в его славу, как в молитву. Он хотел повергнуться в прах пред чудной его силой и ожидать от неё назначения своему бытию.

Шульц отправился в Вену.

Шум городской, быт столичный, все позолоченные погремушки имели мало для него прелести. Он везде спрашивал о Бетховене;

но его и не знали, или знали только понаслышке, как человека, имеющего порядочный бас. «Что ж это? — думал Шульц. — Где храмы, воздвигнутые гению? Где же скрывается сам гений?..»

Наконец, проходя однажды по узкому переулку, увидел он вдали старичка, писавшего что-то углем на стене.

Кругом мальчишки указывали на старика пальцем, дергали его за кафтан и хохотали между собою. Старичок не замечал ничего и продолжал писать. Наружность его была самая странная: седые волосы падали в беспорядке до плеч; кафтан коричневого цвета был изношен до невероятности; красный платок, обвитый около его шеи, придавал какой-то фантастический оттенок глубоким его морщинам и седым волосам. Дрожащей рукой набрасывал он знаки на ветхой стене и вдруг останавливался и наклонял ухо, как будто прислушивался к чему-то.

Шульц принял его за сумасшедшего. Наконец старичок задумчиво улыбнулся и продолжал путь свой вдоль по переулку, опустив голову и в сопровождении веселой толпы, кото-

рая прыгала и кувыркалась вокруг него.

Карл взглянул на стену, и чувство музыкальное закипело в груди. В этих безобразных знаках увидел он новую оригинальную мелодию, что-то небывалое и гениальное.

— Кто этот старичок? — закричал он проходящему.

— Музыкант Бетховен.

«Бетховен!..» Шульц бросился за стариком. Старичок был уже на конце переулка и медленно, медленно скрывался за стеною. В эту минуту Шульцу показалось, что вся слава земная промелькнула перед ним тихо и таинственно, как какая-то страшная тень в рубище. Бетховен скрылся — и более Шульцу не привелось его видеть. Бетховену недолго оставалось жить, и мысль его, теряясь в необъятном, уже стряхнула с себя все земное.

Какие звуки непостигаемые и невыражаемые должны были раздаваться тогда в душе его! Казалось, он был лишен слуха для того, чтоб лучше и полнее прислушиваться к внутреннему голосу гения своего, чтобы в восторге внутреннего песнопения окончить жизнь свою, как последний возглас гимна чудного,

ником не слыханного...

И тогда один только Шульц в этой роскошной Вене, столь славной своей любовью к искусству, один Шульц понял, что было великого в кончине великого мужа.

Княгиня

Извините меня, строгая моя читательница, если я так скоро перебегаю от одного впечатления к другому, переношу вас так быстро от одного портрета к другому портрету. Мысль моя скачет на почтовых, а перо тащится на долгих; не знаю, право, как их согласить. Впрочем вы, добрая читательница, вы привыкли видеть, как все в жизни переменчиво и сбивчиво. Зачем же ожидать вам от повести моей более толка? Не правда ли?..

В одном доме с Карлом жила в бельэтаже русская княгиня, приехавшая из Петербурга. Княгиня Г. (назовем ее хоть этой буквой) имела большое состояние и была известна своей любовью к искусствам. О живописи говорила она с восхищением, о музыке едва не с нервными припадками. В целой Европе слыла она женщиной поэтической. Ей было сорок лет.

В сорок лет, что ни говори Бальзак, женщина в неприятном положении. До сорока лет ей достаточно ее лица; в сорок лет ей нужно особое значение, особенный характер: ей нужно прославиться какой-нибудь инди-

видуальностью, чтоб избегнуть общей, пошлой участи всех великочепечных бостонных игриц. В нынешнее время выбор этой индивидуальности весьма затруднителен.

Ханжество утомительно; остроумие опасно; политика не нужна; литература mauvais genre[12]: остается любовь к изящному. Княгиня ею вооружилась и по ней составила себе особый род жизни. Гостиная ее сделалась сборищем всех талантов и всех знаний. В ней живописец давал руку герцогу, виолончелист дружил с флейтою, актер спорил с поэтом. Знатность и достоинство, дипломатия и музыка сталкивались каждый вечер на художественном базаре русской путешественницы. Сказать правду, княгиня была нрава положительного, сухого, совершенно в противоположность роли, которую она играла; у нее все было обдуманно и начертано наперед, и энтузиазм ее был заготовлен, и каждый ее поступок был рассчитан заранее. Таким образом, она решила, что для аспазийского ее салона [13] необходима вывеска. Вывеской, как известно вам, моя читательница, называется хорошенькое личико с пышными локонами,

которое разливаает чай и улыбается. Выбор княгини пал на Генриетту***. Бедная Генриетта вступила в это несчастное звание, среднее, между дочерью и горничной, которое называется *demoiselle de compagnie*[14].

У нее не было родных, не было состояния. Тетка, у которой она жила в Петербурге, с радостью приняла блестящее предложение и отпустила племянницу свою в дальнее путешествие с русской княгиней. Бедная Генриетта долго плакала: ей жалко было оставить маленький домик, где были все ее воспомина- ния, где мать ее, добрая немка, благословила ее на смертном одре, где отец ее, бедный чиновник, трудился и долго ждал лучшей участи. Она очутилась в новом мире, где все ей было дико. В гостиной, где посадили ее за серебряным самоваром, услышала она новый язык, увидела новые лица и наряды, познакоми- лась с новыми понятиями и страстями, до- толе ей вовсе неведомыми. Расчет княгини был верен: молодые люди начали вертеться около Генриетты и любезничать слегка, как любезничают молодые люди большого света, посвятившие себя удовольствию. Генриетта

слушала их с досадой: она понимала, что она была для них игрушкой, забавным препровождением времени, но что ни одно теплое чувство сожаления или преданности к ней не заронилось в эти груди, затянутые модными жилетами. В этом общем равнодушии, господствующем в большом свете, музыка была ее единственной отрадою. Княгиня умела и тем воспользоваться. Каждый вечер, когда гостиная ее наполнялась гостями, она обращалась к Генриетте и ласково просила ее сыграть вариации Герца или концерт Калкбренера[15].

Бедная девушка, которая отдала бы все на свете, чтоб скрыться от этого шумного собрания, садилась за рояль и терпеливо слушала все выученные комплименты, которые сыпались около нее.

Однажды вечером, когда, окончив блистательное *sarpićcio*, испещренное всеми трудностями и скачками новейших фортепьянистов, сидела она, потупив голову и опустив руки на колени, услышала она подле себя следующий вопрос:

— Что думаете вы об этой музыке, госпо-

дин Шульц?

— Я думаю, что это не музыка, — отвечал он хладнокровно.

Генриетта невольно подняла голову: высокий рост, бледное лицо и неуместность отрыва показались ей так странными, так неприличными, что женское ее любопытство невольно разыгралось.

— Когда актер, — продолжал Шульц, — выступает на сцену и красноречивым искусством выражает вам все человеческие страсти, неужели не отдадите вы ему преимущества над бессмысленным прыгуном, который кувыркается перед толпой? Когда живописец, свыше вдохновенный, изобразил вам святой лик Мадонны, неужели вы станете восхищаться карикатурами? Отчего же вы думаете, что в музыке нет подобных степеней, что в музыке нет прыгунов, нет жалких карикатур? Поверьте мне: все эти концертные фокусы не что иное, как карикатуры.

Генриетта была вся внимание. В первый раз слышала она речь смелую, слова убеждения, а не щегольского пустословия.

— Вы любите музыку? — сказала она, пово-

ротившись к Шульцу. Шульц смутился. Я говорил: Генриетта была собою прекрасна. Большие голубые глаза отражали чистое небо ее души; волосы светло-белокурые вились пышными кольцами до плеч. Шульц загляделся. Она повторила свой вопрос.

— Я чувствую музыку, — отвечал, запинаясь, Шульц, — и учусь ее понимать.

В эту минуту княгиня к ним подошла.

— Господин Шульц! — сказала она своим ласковым тоном. — По праву соседства, которым вынудила я ваше знакомство, буду я просить вас сыграть нам что-нибудь. Приятель мой, который вас слышал и вас ко мне притащил насильно, только и бредит вашею игрою.

Карл хотел извиняться. Генриетта взглянула на него умоляющими глазами. Новое, незнакомое ощущение овладело Карлом. Он сел за рояль и не понимал, что с ним делалось. Подле него стояло существо чудное, обвитое белою пеленою, осеняя свои прозрачные кудри прозрачным облаком голубого покрывала. Оно парило над ним гением благодатным, нашептывающим ему небесные обещания. Вдруг жизнь показалась ему прекрас-

ною; вдруг надежда загорелась яркой звездой в душе его. Он ударил по костям рояля и начал играть...

Когда на вас слетает вдохновенье, не выражайте его словами: для живой мысли мало мертвого слова. Одна, быть может, музыка, как нечто среднее между душой и словом, между небом и землей, может выразить в слабом оттенке часть невыражаемого восторга, который хоть раз в жизни осеняет свыше каждого человека.

Но все то, что можно было выразить и пересказать, пересказал красноречиво Шульц в своей пламенной игре. Весь пышный раут княгини вскочил со своего места. Похвалы посыпались градом. Генриетта молчала: для нее Шульц казался выше человека.

Княгиня была в восхищении.

— Господин Шульц! — говорила она. — Вечер этот не изгладится из моей памяти. Я счастлива, что могу первая принести скромный листок в венец лавровый, который должен венчать вашу голову. Я горжусь вашим знакомством. Располагайте мною всегда и везде, как вашей искренней приятельницей.

В гостиной была торжественная суматоха. Пятьдесят рук протянулись к руке Шульца; пятьдесят приглашений, пятьдесят уверений раздавались за ним вслед. Карл благодарил холодно и скрылся. Слава земная казалась ему ничтожной с тех пор, как предчувствовал он целое небо. Несмотря на то, на другой день весь город только и говорил, что о новом артисте; на третий день говорили о нем меньше, на четвертый он был совершенно забыт.

Такова судьба молвы в больших городах.

Если б Шульц на другой день обегал всех своих новых знакомых, и кланялся бы, и выпрашивал покровительства, то он мог бы хлопотать себе прочнейшую известность; но он остался спокоен в своем уголке — и был забыт. Да что было ему до этого! Благодаря княгине он сделался учителем Генриетты.

Молодость! молодость! Неумолимая, неуловимая!

Как быстро несешься ты! Как скоро ты летишь! Ты летишь окрыленная, а на крыльях твоих радужных сидит, согнувшись, насмешливый опыт и немилосердною рукою свеваёт с дороги толпящиеся мечты. Кидай ему, моло-

дость, цветы твои на голову — не перехитрит тебя сердитый старик! Ты бросишь ему цветы многих очарований: и ландыш смиренный и лавр боевой; но розу любви ты крепко, крепко прижми к своему сердцу, не отдавай ее лукавым седидам; сохрани ее для себя, и когда роза иссохнет от пламени сердца — и тут не кидай ее в укор старику, а возьми ее с собою в могилу и схорони ее с собой!

Для Шульца наступили торжественные минуты.

Каждый день он спускался из своей комнаты в щегольские покои княгини и благодаря праву всех учителей вообще оставался наедине с Генриеттой.

Для Шульца Генриетта была не женщина, а существо высшее, неземное, гений его фантазии, идеал его вдохновения. Шульц любил как юноша, как артист, пылкий и молодой.

И Генриетта предалась Шульцу сердцем и жизнью, и для нее Шульц не был существо обыкновенное, и она тоже смотрела на него с чувством какого-то благоговения. Она любила, как дитя забытое и брошенное любит

человека, который его призрел и взлелеял.

Хороша была Генриетта, очаровательна всей красотой женщины, которая любит. Она обратила в любовь все силы своей души; она создала себе новый мир, мир глубокого чувства, преддверие небесного рая. Благодаря бедственной молодости все ощущения ее были сильны. Любовь для нее не была занятием мазурки или модного безделья: она загорелась в душе звездой неугасаемой.

Каждый день, говорил я, они были вместе, и музыку освящали они любовью, и любовь освящали они музыкой.

Шульц учил восторженно и красноречиво. Генриетта слушала с любовью. Как радовался он ее вопросам! Как любила она его ответы!

К несчастью, любовь их была из тех, которым не суждено земное счастье. Она касалась облаков, а для счастья земного нужно оставаться на земле. Быть может, если б, не забывшись во взаимном созерцании друг друга, они огляделись вокруг себя, оценили бы и жизнь и свет, — то они могли бы упрочить себе жизнь безмятежную и тихую, покоренную вполне законам сущности. Но ни

Шульц, ни Генриетта того не знали: ему не было еще двадцати, ей едва минуло семнадцать лет.

Они любили молодо и горячо. Они давно уже поняли, что розно для них нет счастья; но ни одно слово любви не выронилось между ними. В невинности своей Шульц не думал, чтобы можно было выговаривать их иначе, как перед брачным алтарем. Да к чему слова?..

Три месяца пролетели стрелой. Все шло своим порядком. Княгиня приглашала Шульца на свои вечера, куда он редко показывался и где более не играл. Аспазийские сборища шли своим чередом.

Однажды Шульц пришел, по обыкновению, в час урока и остановился с изумлением у дверей. Генриетта сидела у рояля и плакала.

— Что с вами? — закричал он.

— Мы завтра едем в Италию, — отвечала Генриетта.

Карл опустил голову. Он был подобен человеку, который, упав с высокой башни, не может собрать еще ни чувств своих, ни мыслей.

— Не забывайте меня, не забывайте меня!

Я вам многим обязана. Я век вас буду помнить.

— Генриетта! — сказал он. — Я бедный музыкант, вы это знаете; отец меня прогнал; хотите ли разделить мою участь? хотите ли быть моей женой?

Генриетта молча протянула ему руку.

— Нет, не теперь, — отвечал с чувством Шульц, — не теперь! Дайте мне прославить себя, дайте мне моей славой выпросить отцовское благословение и милость, и тогда я предстану пред вами, и тогда я скажу вам: невеста бедного Шульца, я пришел за вашим словом!

— Я буду ждать вас в Италии, — тихо отвечала Генриетта, снимая с руки своей кольцо. — Я ваша невеста...

В эту минуту вошла княгиня и вручила Шульцу запечатанный пакет.

— Мы едем завтра, — сказала она ласково. — Приезжайте ко мне в Петербург: я всегда рада буду вас видеть.

Шульц поклонился и в невыражаемом волнении побежал в свою комнату.

Там он распечатал пакет.

В пакете лежали деньги и записка следующего содержания: «Считая по талеру за урок, за три месяца — 90 талеров».

Борьба

Шульц был снова без душевного приюта, но цель жизни ему была открыта. Он заперся в своей комнате и начал сочинять. Известность модного концертиста ему была неприятна и противна. Происки, поклонения, музыкальные спекуляции были ему незнакомы. Он хотел вступить на поприще как жрец искусства, а не как бедный проситель; он хотел бросить на суждение толпы свое творение и ждать ее приговора. Он начал писать большую симфонию на целый оркестр. Шесть месяцев пробежали. Он жил уединенно и забытый, с одною мыслию в голове, с одним воспоминанием в сердце. Труд его был кончен...

Вдруг получил он записку от одного дюссельдорфского приятеля:

«Отец ваш умирает. Перед смертью он хочет вас видеть и вас простить. Духовное завещание уже сделано в вашу пользу. Поспешайте!»

Шульц бросил все и поспешил к отцу. Бы-

ло поздно, когда он приехал: отец уже умер. Духовное завещание в пользу сына не было нигде отыскано. Вместо того Маргарита представила завещание, в силу которого она сделана наследницей всего имущества покойника. Шульцу сказала она, что он как виновник смерти своего родителя никакого пособия от нее ожидать не должен. Делать было нечего. Шульц горько поплакал на свежей могиле и, взяв опять свой страннический посох, отправился снова в Вену. В Вене два известия поразили его: Бетховен умер, княгиня воротилась из Италии и уехала в Россию.

Артист оставался один. Надежда на будущее становилась ему каждый день туманнее и темнее. Он показал свое творение венским артистам. Артисты его хвалили и советовали Шульцу не оставаться в Вене, а ехать в Петербург. Несколько рекомендательных писем к петербургским артистам были ему вручены. Привлеченный тайной мыслию, Шульц послушался коварных советов; он покинул свою Вену, где ярко блеснули для него два чудные метеора: гений — в чертах Бетховена, любовь — в очаровательном образе Генриетты.

Он собрал в одну сумму все свое скудное состояние и отправился на холодный север, в сырой Петербург — попытаться, не блеснут ли ему там опять, хоть в северном сиянии, два метеора, им боготворимые, — гений и любовь. Но пора его прошла.

Небосклон остался сыроват и туманен. Генриетты и княгини в Петербурге не было: они, как узнал Шульц, уехали в Одессу. Шульц вручил петербургским артистам свои рекомендательные письма. Первая скрипка приняла его величаво и решительно отказала в пособии. Прочие ей последовали. У одного был брат фортепьянист, у другого дядя, третий сам играл на фортепьяно. «Концерты давать трудно, — говорили они, — для них много нужно издержек, а покрыть их нечем. Фортепьяно — инструмент такой обыкновенный». Если б Шульц играл на трубе, или на пятнадцати барабанах, или на каком-нибудь неслыханном инструменте, или если б он был слепым или уродом, то успеха ожидать бы можно, а фортепьяно можно найти в каждой кондитерской. Всего лучше, советовали ему самые благонамеренные, учить малень-

ких детей или играть для танцев. Шульц заговорил о своих сочинениях. Тогда его почли за сумасшедшего и перестали о нем заботиться. Принужденный необходимостью, Карл искал уроков, но, кроме одной толстой купеческой дочери и маленького сына квартального надзирателя, он не мог найти учеников. Эти два урока составляли весь его доход, и более трех лет уже жил он безропотно на своем чердаке, куда в известное нам утро Мюллер принес ему пару испорченных калош и приглашение на именины к Марье Карловне. Вы помните, что этим начинается мой рассказ.

Товарищ

Когда сапожник ушел, Шульц долго сидел еще на своем стуле перед столиком, подперши голову руками, и думал... О чем?.. Бог его знает. Только ему было тяжело и душно.

Дверь вдруг опять растворилась. Вошел молодой черноволосый человек, в старом изношенном сюртуке.

Тихонько приблизился он к Шульцу, наклонился над его головою и шепнул ему на ухо:

— Терпенье!

Шульц поднял голову.

— А там слава!

Шульц засмеялся.

— Слава, товарищ, слава! Видишь отсюда? Толпа, покорная пред именем твоим, волнуется перед тобой, всюду гремит молва о твоей славе. Слава, слава тебе!

Женщины кидают тебе венки; мужчины с завистью рукоплещут тебе; бедный артист сделался владыкой толпы; гений возьмет свое место; музыка восторжествует.

«Молодость!» — подумал Шульц.

— А я, — продолжал молодой человек, — а я смиренно пойду за тобой и буду кидать цветы на славный путь твой. Бедный студент сочетает имя свое с именем великого музыканта, так как души их уже сочетали вдохновение слов с вдохновением звуков. Да, товарищ, гений твой сделал меня поэтом! Мысли твои заставили меня думать, чувства твои заставили меня чувствовать — чувствовать горячо. Слава тебе, мой друг, слава и мне, твоему другу в нищете, который первый тебя понял! Слава нам обоим!

— Ты, кажется, пьян, — сказал с удивлением Шульц.

Студент покраснел и потупил голову. Мгновенный огонь его погас. Он сурово огляделся.

— Итак, неудача? — продолжал Шульц.

— Стыд и поношение, — сказал бывший студент дрожащим голосом. — Стыд!.. Ты видел, сколько бессонных ночей проводил я за своим творением. Вот год, как мы живем дверь об дверь: ты с своей музыкой, а я с своей поэзией — оба бедные, оба с одной целью. Когда я был в Казанском университете, мне

душно было оковывать свой ум в правила сухой науки: назначение мое было быть по-этом.

«Молодость! — подумал Шульц. — Я верю поэзии, а не поэтам».

— Я бросил свой университет... Обман и стыд! Глупая сущность начала меня давить!

Шульц проткнул молча руку молодому человеку и крепко пожал ее.

— Да что тебе рассказывать! Я объяснял тебе все — листки моего романа, я читал тебе и толковал тебе мои стихи — и одобрение твое мне было лестнее всех бессмысленных похвал ничтожной толпы, которая аплодирует прыжкам Турньера[16] громче, чем творениям великого Шекспира. И со всем тем, знаешь, в мысли о славе есть какая-то чудная отравка, какая-то невыразимая сила!

Она похожа на вероломную женщину, которую можно любить страстно и вовсе не уважать.

— Ты был у книгопродавца? — спросил Шульц.

— Бедность моя была не в тягость, потому

что впереди я видел надежду. Рукописи мои вчера окончены. Я был у книгопродавца.

— И он отказал?

— Я вошел в славную лавку, уставленную шкафами красного дерева. Все это устроено с большою роскошью. В углу за красивым бюро стоял какой-то господин в очках и писал в толстой книге. Я с трепетом к нему подошел. «У меня есть рукопись, которую я желал бы напечатать», — сказал я вполголоса. «Мы рукописей от неизвестных сочинителей не принимаем», — отвечал мне, не поднимая головы с книги и продолжая писать, господин, заревавший меня своим равнодушным ответом.

«Так вы и прочесть не хотите?»

Господин усмехнулся.

«Много у нас есть времени читать! Впрочем, мы теперь больше ничего не печатаем». — «Да печатают же других?» — «Редко; да это дело другое. Большею частью печатают на свой счет, или, если сочинители уже известны, как покойник Пушкин, например, то мы даем хорошие деньги». — «А если сочинение мое точно хорошо?» — «Быть может. Вот если, например, господин А. Б. или господин

В. Г. поручается, что ваше сочинение понравится публике, то со временем, может быть... Впрочем, мы теперь вовсе не печатаем». С этими словами он повернулся ко мне спиною и ушел в другую комнату.

— Послушай, брат, — сказал Шульц, — поверь моему совету: у тебя есть в твоих степях старушка мать, ты мне о ней часто говорил. Поезжай к ней. Вступай в службу там, где она живет. У вас это легко. Будь честным человеком, исполни свой долг. Это лучше всякой славы: к презрительной женщине привязываться стыдно. Не обманывай себя ложным назначением. Ты поэт, потому что беден. Был бы ты богат, ты не был бы поэтом. Я тебе говорил уже это прежде: поэзия — как любовь, любовь — как поэзия; чувства спокойные торжественны, а не болезненны: они свет, а не пламень, согревают, а не жгут. Поверь мне, поезжай в степи. Это добрый совет.

Шульц говорил напрасно. Молодой человек все более и более волновался; черные глаза его сверкали, губы дрожали, волосы рассыпались в беспорядке.

В исступлении выбежал он из комнаты и

побежал на улицу.

К ночи он не возвращался. Полицейские служители, увидев на улице, по-видимому, пьяного человека, отвели его на съезжий двор, откуда он и был выпущен только на другое утро...

В жизни бывают иногда странные сближения. В одном доме, на одном чердаке встретились две родственные природы, два брата по бедности и по душе. Оба обманутые одними надеждами, оба последовавшие первому порыву обманчивой молодости, оба удрученные одним горем.

Но Шульц был старше: борьба с жизнью его более утомила, чем пылкого его товарища, и притом он так долго боролся, что силы его уже ослабевали. Постоянное горе, как непрерывное счастье, приводит к равнодушию; отчаяние делается привычкой жизни и налагает какую-то страшную преждевременную смерть на душу. Шульц доживал до этой эпохи. Сострадалец его был еще в цвете молодости: ощущения его были живы, резки: он переходил поминутно из одной крайности в другую, то плакал, то смеялся, то строил воз-

душные замки, то предавался совершенному отчаянию. Шульц был спокоен.

Бал

Воскресенье наступило. Верный своему слову, спустя три дня после визита Мюллера Шульц отправился в Малую Морскую на именины Марьи Карловны. Праздник был хоть куда. Сапожная лавка превратилась в танцевальную залу. В углу стоял принесенный от приятеля-настройщика большой рояль. Из спальни вынесли кровать и поставили там два ломберные стола и стол круглый с самоваром и чашками. Ванька, во фраке по колено, был приставлен к блюдечкам с пастилою и конфектами.

Когда Шульц вошел, хозяев в комнате не было. Гостей была пропасть: настройщик, владетель рояля, с женою и маленьким сыном, портной Брейтфус с двумя дочерьми, вдова Шмиденкопф с зятем, сапожник Премфефер и жена его, охотница до танцев, три или четыре родственницы, четыре сапожника, трое портных, аптекарь и почетный гость — купец, приезжий из Риги. Шульц остановился у дверей и ждал хозяев. Через несколько минут вошла Марья Карловна с

разгоревшимся лицом, в новом чепчике с большими голубыми бантами. За нею пришел Мюллер с трубками и сигарками.

— Willkommen! Willkommen![17] — закричал он, увидев Шульца. — Что дело, то дело. Господа и дамы! Мне хотелось для именин Марьи Карловны сделать маленький сюрприз: я и пригласил музыканта, чтоб нам играть разные танцы.

— Я уж это предвидела, — сказала, улыбаясь, Марья Карловна. — Да как же нам танцевать? У меня не все еще в кухне готово.

— Мы вам пособим! — закричали в один голос все дамы. Марья Карловна с благодарностью приняла их помощь и в сопровождении двух приятельниц возвратилась в свою кухню. В это время самовар закипел, трубки задымались. Ванька начал носить пунш для кавалеров и шоколад для дам. Рижский купец с почетными ремесленниками сел играть в вист.

— Кончено! — закричала Марья Карловна. — Теперь экоссез[19]; я танцую с мужем.

Все кавалеры наскоро допили свой пунш и бросились ангажировать дам.

Шульц молча придвинул стул к роялю. Пары образовались.

— Los![18] — закричал Мюллер.

Шульц вспомнил какой-то экоссез, иггранный им в детстве, и терпеливо принялся его наигрывать. Сапожники начали прыгать и делать ногами разные бряканья ко всеобщему удовольствию и хохоту. Марья Карловна носилась со своим Мюллером между двойным строем танцующих. Мадам Премфефер была вне себя от восхищения. Экоссез кончился. Кавалеры стали отирать лицо платками, а дамы скрылись в другую комнату.

— Пуншу, Ванька! — кричал Мюллер. — Пуншу и конфект для дам!

Надобно заметить, что когда Мюллер что делал, то он любил делать уже хорошо и не жалел лишней копейки для полного угощения своих гостей.

— Ну, теперь англез[20]! — сказала Марья Карловна, отдохнув от недавних трудов своих.

— Англез, англез! — закричали все кавалеры. Пары вновь устроились. Шульц сел опять за рояль, но не играл ничего: он ни одного ан-

глаза не помнил и не знал, как его играть.

— Не может ли кто-нибудь из дам, — спросил он, — указать мне, как играть англес и каким тактом. Я так давно не танцевал, — прибавил он, — что я и забыл, как играют танцы.

Дамы взглянули друг на друга. Госпожа Премфефер бросилась к роялю и двумя пальцами пробренчала какой-то старинный мотив. Шульц сыграл его за нею; пары стали вновь по местам; танец начался.

Сыграв несколько тактов, Шульц соскучился однозвучностью старого мотива и неприметно, мало-помалу удалился от своей темы и начал импровизировать. Никогда не был он еще унижен в своей артистической душе!.. Ему делалось душно. Досада его мучила, давила и наконец вылилась в его игре. Негодование, негодование обиженного художника, загремело в диких раздирающих звуках. Вдохновение поблекшей молодости вдруг разгорелось опять на щеках его; глаза его опять заблистали, сердце забилося; казалось, он собрал опять все силы своей молодости, чтобы побороть свою судьбу, чтоб про-

славить и оправдать величие артиста. Пальцы его бегали, как будто повинуюсь сверхъестественной силе. Он играл не пальцами, а душой поэта, душой глубоко обиженной. Кругом его все исчезло: он не знал, где он, кто он, с кем он; он весь перешел в чувство; даже мысли его смешались, память исчезла, времени для него не было...

Когда он поднял голову, все немцы стояли с благоговением около рояля и молчаливо, с каким-то инстинктивным сочувствием внимали красноречивой повести непонятных страданий. В их внимании было что-то почти-тельное: они все поняли, как далек был от них бедный музыкант, нанятый для их забавы; они боялись оскорбить его похвалой и слушали его не переводя дыхания.

Даже Марья Карловна забыла свой ужин. У рояля стоял Мюллер и о чем-то горестно думал, а настройщик сидел в уголку, потупив голову и закрыв глаза.

Шульц ударил пронзительный аккорд и, увидев, что танец от его рассеянности был прерван, поклонился и заиграл опять англес госпожи Премфефер. Общее восклицание его

остановило. Настройщик вскочил с своего места и схватил его за руку; Мюллер в замешательстве начал перед ним извиняться.

— Г-н Шульц! — говорил он. — Я простой мастеровой, я небогатый человек, г-н Шульц... Я честный человек, г-н Шульц... Мне стыдно, г-н Шульц, что я смел просить вас играть у меня... Извините меня, г-н Шульц... Располагайте мною, г-н Шульц... Требуйте от меня чего хотите, г-н Шульц...

— Г-н Мюллер, я прошу у вас позволения удалиться. Я не очень здоров, — отвечал Шульц.

— Как вам угодно, г-н Шульц, как вам угодно! Мы не смеем вас удерживать...

Они вышли в переднюю. Шульц отыскал свою шинель и калоши. Добрый Мюллер при виде калош сгорел от стыда. Он начал шарить в своих карманах и отыскал небольшую черепашковую табакерку с золотым ободочком.

Эту табакерку подарила ему Марья Карловна, когда он еще был женихом; он почитал ее большою драгоценностью и, несмотря на то, хотел отдать ее музыканту, чтоб загладить свою вину.

— Я небогатый человек, — сказал он, подавая Шульцу свою табакерку, — но я честный человек. Если вы не хотите меня обидеть смертельно, вы не откажетесь принять в знак памяти удовольствия, которое вы нам доставили, эту безделицу. Она будет для вас залогом уважения бедных ремесленников к вашему великому таланту.

Шульц посмотрел на него с удивлением... Наконец он был понят. Но где? и кем?.. Он взял табакерку Мюллера и крепко пожал ему руку.

— Я принимаю ваш подарок, — сказал он, — как залог того, что искусство находит еще отголосок в душах неиспорченных. Эта мысль для меня утешительна, а я начинал и в ней сомневаться. Табакерка ваша мне будет напоминать, когда я захочу презирать всех людей, что есть люди добрые, как вы, г-н Мюллер. Спасибо вам!

Настройщик

Никто на бале у сапожника не был так глубоко тронут игрою Шульца, как старый настройщик, о котором мы упоминали выше. Он был благодаря долговременному опыту человек жизни практической, который, разорившись, играя на роялях, принялся их делать и настраивать и тем составил себе небольшое состояние. Он жил давно уже в Петербурге и лучше всех знал, как добывается на свете музыкальная слава; наглядевшись на все глазами горького опыта, он мигом разгадал Шульца и решил ему помочь.

Чем свет сидел настройщик на чердаке, нам знакомом, держал Шульца за руки и с жаром ему говорил:

— Удовольствие, которое вы мне доставили, невыразимо. Оно врезалось в душе моей, как одна из лучших минут моей жизни. Я бедный настройщик, но я также понимаю искусство. Оно одно дает только цвет моей жизни.

Шульц глубоко вздохнул.

— Знаете что? — продолжал настройщик. — С вами надо познакомить нашу пуб-

лику. Дайте концерт!

Шульц покачал головою.

— Знаю, знаю... Не вы первый, не вы последний. Затруднения, издержки, зависть, зависть самая постыдная, самая низкая — зависть артистов между собой. Сколько истинных талантов задушила эта змея! Сколько видел я таких случаев на своем веку!.. Скажите мне, к кому обращались вы, желая познакомиться публику с вашим талантом?

— Я имел, — отвечал Шульц, — несколько рекомендательных писем к здешним первым музыкантам.

Настройщик посмотрел на него с удивлением, а потом засмеялся.

— И вы у них просили помощи, известности?

— Да от кого же было мне ожидать ее?

— Помилуйте! не то, совсем не то! Вы поступили как неопытный ребенок. Вам прежде всего надобно было подделаться под общее направление нашего времени. Вам надобно было отпустить волосы до плеч, да усы, да бороду, чтоб немного по наружности походить на рассеянного, на восторженного или на су-

масшешдшего. Вам надобно было познать с какими-нибудь важными барынями и поиграв у них раза по три на вечеринках даром. Вам надобно было говорить громко, бранить донельзя всех здешних музыкантов, чтоб внушить им к себе почтение и страх, а наконец из милости согласиться дать один только концерт, который вы могли бы впоследствии повторять несколько раз в год, наваливая вашим господам по сотни билетов, которые они, с своей стороны, стали бы навязывать тем несчастным, которые в них нуждаются. Таким образом вы вошли бы в моду.

— Я думал, — подхватил Шульц, — что для искусства не нужно моды.

— Помилуйте! Бросьте ваши предрассудки! Мы живем в веке поддельном. Ныне под все можно подделаться, даже под искусство.

— Как это? — спросил Шульц.

— А вот как: искра, падшая с неба, мала; не в каждом сердце она загорится, не каждому душу она освятит; а механизм дается всякому, у кого только рука да воля. Мы доживаем до того, что искусство сделается ремеслом; скоро оно станет ниже ремесла. Немногие умеют их

отличать друг от друга.

Оба замолчали.

— Что ж мне делать? — спросил Шульц.

— Последуйте моему совету. Я готов вам помогать, хоть и должен вам сознаться, что вы свое дело уже испортили. Вам остается дать музыкальное утро в зале какой-нибудь дамы, у графини Б***, у графини З***, у княгини Г***.

— Княгиня Г. в Петербурге? — вскричал Карл.

— Да уже с год как приехала из Одессы. Вы ее знаете?

— Я бывал у нее каждый день в Вене. Она страстно любит музыку и живопись. Вот женщина! — продолжал с жаром Шульц. — Вот женщина, которая в преклонных годах, в чужду светской жизни умела сохранить чистую любовь к высокому!

Настройщик усмехнулся.

— Вас ничем не исправишь, — сказал он, — однако и то хорошо: княгиня вас знает. Я ее настройщик. Пойдемте к ней. По праву старого знакомства попросите у нее большой залы для вашего музыкального утра.

— Вы видели воспитанницу княгини? — спросил, запинаясь, Шульц.

Настройщик пристально на него посмотрел.

— У княгини нет воспитанницы, — сказал он протяжно, — впрочем, у нее вы, может быть, узнаете то, что хотите. Пойдемте.

Они отправились.

Визиты

В богатых сенях толпилось несколько старух, известных в Петербурге под названием салопниц. У каждой было по огромной бумаге в руках и на искаженных устах вертелась довольно неприличная брань, сдерживаемая присутствием швейцарской булавы. Настройщик порхнул мимо ливрейного привратника вверх по узорчатому ковру лестницы: швейцар пропустил его, как собачку, не обращая никакого внимания на столь ничтожное лицо.

Шульца он остановил.

— От кого вы? Есть ли у вас письмо? Княгиня без рекомендации нищих не принимает!

Глаза Шульца засверкали.

— Я хочу видеть княгиню как старый знакомый, а не как нищий. Доложите ей, что приехал Карл Шульц, фортепьянист из Вены.

Швейцар взглянул на него с недоверчивостью и потащился по лестнице. Через полчаса Шульца просили войти.

Княгиня сидела в голубой штофной комна-

те, перед камином. Направо от нее стоял стол, заваленный бумагами и разными филантропическими планами.

— Г-н Шульц! — сказала она, не изменяя ледяного выражения своего лица. — Очень рада вас видеть. Садитесь. Что доставляет мне удовольствие вашего посещения?

— Я принял смелость, княгиня, беспокоить вас, знал всегдашнюю любовь вашу к музыке...

— К музыке? Да, я люблю музыку. Да теперь времени у меня нет думать о ней: вечером я должна быть в свете, а утром у меня дела. Больные, сироты надоели мне до крайности: отнимают все время, а делать нечего!

«Странная благотворительность!» — подумал Шульц;

— Чем могу я быть вам полезна? — продолжала княгиня.

— Мне советуют дать музыкальное утро. Я надеялся, что вы, княгиня, по прежней благосклонности ко мне, не откажете мне в вашей зале.

Княгиня немного нахмурилась, но отвечала с своею холодною учтивостью:

— Я вам должна признаться, что всегда отказывала подобным просьбам. Но вам, по старому знакомству, я отказать не могу. Зала на будущей неделе к вашим услугам.

Княгиня позвонила. Вошел слуга.

— Прикажите этому несносному настройщику перестать и приходить, когда меня нет дома. Теперь я занята. Кроме княгини Варвары Васильевны, не принимать никого.

Шульц встал. Он хотел спросить о Генриетте и не мог собраться с духом. Княгиня молчанием своим указывала ему дверь. Он это почувствовал, извинился, поблагодарил и вышел.

В сенях он нашел настройщика, который его дожидался.

— Дана вам зала? — спросил он.

— Дана, — отвечал мрачно Шульц.

— Ну, теперь пойдите к артистам, которые вам должны помогать. Концерта одному дать нельзя.

— Да они меня все знают, и все отказали в помощи.

— Не бойтесь, не бойтесь. Ступайте со мной.

Они пришли к первой скрипке, той самой, которая более всех напугала Шульца в его первом предприятии.

Первая скрипка сидела в халате в покойных креслах и едва привстала при виде посетителей. Рот ее сжался отрицательным знаком, а на губах зашевелилось: «Что вам угодно?»

— Мы сейчас от княгини Г***, - сказал развязно настройщик.

Первая скрипка сделалась милостивее и просила их садиться.

— Княгиня Г***, - продолжал настройщик, — непременно хочет, чтоб приятель мой, Карл Шульц, дал музыкальное утро в ее зале.

Скрипка улыбнулась Шульцу.

— Княгиня Г*** знала приятеля моего, Карла Шульца, еще в Вене, где он был в большой моде.

— Право? — сказала скрипка.

— Княгине Г*** будет очень приятно, если вы согласитесь участвовать в концерте, который будет дан в ее зале. Зала прекрасная для концертов.

— Я очень рад, г-н Шульц, быть вам полезным.

Шульц не говорил ничего. Он был похож на мученика.

— Я сам скоро намерен дать концерт, — подхватила первая скрипка, — и надеюсь, что господин Шульц не откажет сделать мне честь... будет в нем участвовать.

— Очень рад, — отвечал Шульц.

Они встали; скрипка провожала их до передней и низко кланялась.

Покровительство княгини Г*** была цель всех ее желаний, но, с тех пор как княгиня от музыки перешла к благотворительности, она потеряла уже надежду на эту полновесную подпору. Теперь путь был открыт: скрипка торжествовала.

На улице Шульц начал упрекать своего товарища.

— Бедный человек! — отвечал он. — Ты овца между волками; хочешь успеха? Брось совесть.

— Неужели, — сказал музыкант, — мы живем в веке до того развращенном, что, кроме эгоизма, нет более никакого чувства, нет ни-

какого, хоть невольного, доброго движения? Неужели все люди презрительны и низки? — Машинально схватился он за карман: в кармане лежала табакерка — подарок Мюллера. Он вынул ее, посмотрел на нее — и душе его стало легче.

В эту минуту два пальца протянулись к его табакерке.

— Позвольте-с! Надворный советник...

Шульц поднял голову. Перед ним стоял маленький чопорный господчик в голубых очках, с носом вверх, с видом весьма самодовольным. Господчик протягивал руку к табакерке, приговаривая: «позвольте-с», а потом, указывая на себя, повторял с гордостью: «надворный советник...»

Шульц никак не понимал, отчего надворный советник имеет более другого права нюхать табак.

— Что Вам угодно? — сказал он наконец.

— Табачку-с... надворный советник...

— Я не нюхаю, — отвечал хладнокровно

Шульц и положил табакерку в карман.

Лицо господчика переменялось.

— Странно! — забормотал он. — Странно!

Неучтиво! Очень неучтиво! Князь Борис Петрович, граф Андрей Ильич, князь Василий Андреевич мне сами всегда говорят: «Любезный! Не хочешь ли моего?..»

Шульц был уже далеко.

Господчик пошел сердито по улице и ворчал себе под нос:

— Неучтиво, очень неучтиво!.. Князь Борис Петрович, князь Василий Андреевич... Очень неучтиво! — Вдруг он весь изменился: по улице шел какой-то вельможа и кивнул ему головою. Господчик согнулся крючком, опустил шляпу до земли; лицо его просияло отблеском какого-то невыразимого чувства.

Концерт

Через несколько дней петербургские охотники до афиш читали следующее объявление:

*«С дозволения правительства в среду, 16-го апреля, в зале ее сиятельства княгини Г*** Карл Шульц, фортепьянист из Вены, будет иметь честь дать большое инструментальное и вокальное музыкальное утро.*

Часть 1

- 1. Увертюра Моцарта.*
- 2. Концерт Бетховена (Г-н Шульц).*
- 3. Ария из Фрейшюца (Г-н Н ***).*
- 4. Концерт Вебера (Г-н Шульц).*

Часть 2

- 5. Соло с колокольчиками для скрипки (Г-н Х ***),*
- 6. Дуэт из Нормы (Г-да Г *** и Г ***).*
- 7. Концерт Мендельсона-Вартольди (Г-и Шульц).*

Цена билетам 10 рублей

Билеты получаютcя в музыкальном магазине г. Пеца и у настройщика, живущего в Малой Морской, в доме под № 42, а в день музыкального утра — при входе в залу».

Цену назначил настройщик вопреки мнению Шульца, который находил ее весьма высокою. Настройщик утверждал, что о достоинстве артистов заключают по цене их билетов, и потому спустить цену — значит поставить себя ниже других.

Настала середa. Зала была вычищена. Ряды стульев поставлены обыкновенным порядком. Два часа пробило.

Начали съезжаться. Шульц был в соседней комнате и ожидал очереди своей явиться перед почтеннейшей публикой. Почтеннейшей публики было немного: несколько записных посетителей концертов, несколько барышень, умеющих брэнчать на фортепьянах, несколько франтов, не знающих, куда деваться в длинное утро; во втором ряду дама в розовой шляпке подле чопорного господчика в голубых очках; в пятом ряду Марья Карловна

в новом своем чепчике с голубыми бантами, рядом с своим Мюллером; в последнем ряду студент, знакомец наш, товарищ Шульца. Прибавьте к этому человек двадцать, которые находятся везде — из удовольствия или обязанности, но с которыми вы незнакомы, — и опись будет кончена. Всего можно было насчитать человек до шестидесяти. Княгини в зале не было. Она взяла пять билетов и приказала извиниться по случаю каких-то дел.

Увертюра кончилась. Настройщик придвинул немного рояль, поднял крышку, подставил под нее подставку и отошел в сторону. Шульц показался. Почтеннейшая публика, по обыкновению, захлопала. Шульц приблизился, хотел поклониться — и вдруг остановился на своем месте. Взгляд его встретился со взглядом дамы в розовой шляпке. Мороз пробежал по его жилам, огонь бросился ему в голову. Он узнал Генриетту, а подле Генриетты сидел человек в голубых очках и злобно улыбался.

Шульцу показалось, что он эту фигуру где-то видел.

Генриетта была спокойна; черты лица ее

не изменялись, только нижняя губа ее как будто судорожно дрожала.

Публика ожидала. Настройщик кашлял. Марья Карловна привстала с своего стула. Студент перекрестился.

Шульц поклонился наконец и машинально сел перед роялем. Руки его дрожали, мысли его были взволнованы.

Он сбивался беспрестанно и играл без выражения; в одном пассаже даже совершенно ошибся. Первая скрипка улыбнулась; контрабас покачал головой; критик, бывший в числе зрителей и заплативший, против обыкновения, на этот раз за свой билет, громко изъяснил свое неудовольствие; два франта вышли из залы.

Музыкальное имя Шульца было потеряно навек.

Концерт продолжался. Соло с колокольчиками первой скрипки имело успех невероятный. Певец и певица пели, по обыкновению, фальшиво, но, по старому знакомству, публика к ним привыкла и провожала их с рукоплесканиями. Шульц начал концерт Мендельсона. Страстная музыка еврея согласова-

лась вполне с бурным состоянием его души. Какое-то дикое, отчаянное вдохновение вдруг овладело им: он был красноречив и прекрасен в своей игре. К несчастью, почтеннейшей публике некогда было слушать: стулья зашевелились: господчик в голубых очках надел шаль на Генриетту; все начали разъезжаться.

Когда Шульц окончил последний аккорд, в зале было пусто; только три человека начали аплодировать: настройщик, Мюллер и студент. Они окружили бедного музыканта и старались утешить его.

Шульц благодарил их молча, молча пошел он по улице со студентом, втащился на свой чердак и бросился на свою убогую постель. Члены его тряслись от лихорадки; душа его была убита.

Ночь провел он ужасную, в бреду и в беспамятстве.

На другой день, когда он вошел в себя, студент сидел у его изголовья и держал в руках письмо. Письмо от Генриетты.

Письмо

«Простите меня, Карл, не презирайте меня, не проклиняйте меня! Я замужем — и не забыла моей клятвы принадлежать вам. Я замужем — и не должна бы к вам писать, а я пишу к вам.

Я надеялась вас встретить еще раз на земле — встретить вас счастливого, прославленного. О, тогда бы вы не услышали моего голоса! Величие ваше отбросило бы довольно счастья, довольно утешения на всю бедную жизнь мою.

Но я встретила вас одинокого, жалкого, непонятого. Черты лица вашего изменились от страданий. Бедное мое женское сердце разорвалось на части. Я видела, я поняла, что вы не забыли меня, что вероломство мое поразило вас ударом ужасным. Я решилась оправдаться перед вами. Бог меня простит!

Вы знаете, Карл, я была бедная девушка. Отец и мать оставили меня в мире сиротою. Я жила у тетки, у которой были свои дети, свои дочери. Я в доме у ней была лишняя. Тетка моя была небогатая женщина. Для нее состав-

ляла я что-то неприятное, что-то сливавшее с мыслью о лишнем платье, о лишнем блюде, горестное воспоминание о потере брата. Она была со мной неприязненно добра, никогда не говорила мне, что я была ей в тягость, но всячески давала это чувствовать. Положение мое было тем горестнее, что я не была вправе называть себя несчастливою.

В то время княгиня Г*** искала себе себе-седницы.

Тетка с радостью сбывла меня с рук. Я перешла в пышные покои своей покровительницы, которая приняла меня прекрасно, сделала мне много обещаний и взяла с собою путешествовать.

В Вене мы с вами встретились. Мы поняли друг друга... Это время для меня незабвенно и свято! Когда мы с вами расстались, я все рассказала княгине: и обещания наши, и надежды. Княгиня улыбнулась. Два года прошло. Мы приехали уже в Россию. Княгиня каждый день была в свете, но я замечала в ней странные изменения.

Она охладевала к музыке, делалась равнодушною к живописи. Она переменяла круг

знакомства. Наконец, любовь ее к искусствам совершенно исчезла. Тогда только догадалась я, что она играла роль, что у этой женщины ни одного прямого чувства не было, что все основано было у нее на светских расчетах. Тогда была мода на благотворение. Княгиня сейчас рассудила, что слава благотворительницы гораздо пристойнее женщине в ее летах, чем слава Аспазии, с которой всегда сопряжено «что-то изысканное и театральное». Это ее слова: я их помню.

Тогда все артисты, которые привыкли на нее надеяться, получили от швейцара сухие отказы; тогда передняя ее наполнилась нищими, присланными ей от князей и графов, как трофеев ее благотворительности. Но и благотворительность ее была притворство, как и любовь к изящному была притворство.

Я ей не была более нужна. Однажды призвала она меня к себе и объявила, что господин Федоренко просит моей руки Я решительно отказала. Княгиня была очень недовольна, говорила о вас с презрением и выхваляла богатство господина Федоренки. Я поняла тогда, сколько было глубокого эгоизма в этой душе.

Я не говорила вам, Карл, еще о сыне княгини, который жил в одном доме с нами. Он был светский человек в полном смысле слова, с последней вестью, с большим искусством танцевать мазурку и притворяться влюбленным — один из тех молодых людей, которыми наполнены большие города. Теперь он в отставке и за границей.

Однажды, Карл, однажды... не могу без стыда вспомнить этой минуты... он открылся мне в какой-то притворной любви. Он предложил мне сердце свое, но не предлагал руки.

Я плакала долго над собой, над своим несчастным званием, которое подвергало меня таким оскорблениям.

И точно, что же я была? — немного более горничной, кукла, которую можно было заставить играть, молчать по желанию; за это меня кормили и давали мне платья, иногда уже изношенные.

Княгиня прислала за мною и осыпала меня упреками.

«Я знаю все, — говорила она, — отчего вы отказываетесь от блестящей партии: вы хотите заманить сына моего в свои сети; вы хоти-

те, чтоб он женился на вас.

Он сам мне в этом сознался. Не стыдно ли вам, нищей, которую я подняла на улице, платить такой неблагодарностью?..»

О! тогда — простите меня, Карл, — я на все решилась... Федоренко явился подзову княгини.

Я осталась с ним одна.

«Если вы хотите, — сказала я ему, — я буду вашей женой; но я не люблю вас: я люблю другого, я люблю Карла Шульца».

«Этого не говорят мужьям», — отвечал он, смеясь.

«Я не хотела вас обманывать... Я буду верна вам... но любви моей не требуйте».

Он смотрел на меня, Карл, и не понял меня. О, это было для меня утешенье. Я убедилась, что души наши никогда не будут иметь ничего общего.

Ему нужно было покровительство княгини; княгине нужно было отделаться от ненужной собеседницы.

Вот отчего я жена Федоренки!

Карл! Простите меня, не проклиняйте меня. Вы видите сами: меня бросили, беззащит-

ную, в пропасть большого света, где владычествуют притворство и эгоизм; притворство и эгоизм погубили меня. Виновата ли я? Не проклинайте Генриетту, Карл, простите ее!»

For wenige[21]

На другой день Генриетта получила следующую записку в ответ на свое письмо:

«Генриетта! Я был на краю гроба: зачем удержали вы меня? К чему воспоминания? Они — насмешка над настоящим. Забудьте меня! Я не тот, что был: вы не узнаете меня. Теперь я нищий, совершенно нищий: нищий достоинством, нищий твердостью, нищий мыслию и чувством. Одно сокровище храню я еще в душе моей: это — любовь к вам, моя Генриетта, это — любовь к тебе, моя невеста. Я унесу ее с собой... Настанет жизнь, где наши жизни сольются в одном солнечном луче, тогда мы будем счастливы... Прощайте!»

Генриетта была женщина. Чем более Карл казался ей жалким и безнадежным, тем более любовь ее усиливалась, тем ничтожнее казались ей условия приличия, тем сильнее вкраивалось в ней желание утешить страдальца. Она бросилась к письменному столу и дрожащею рукой набросала несколько слов:

«Завтра вечером, в восемь часов, я жду вас».

Давно ли они были оба так молоды, так полны надежд! Давно ли они сидели друг подле друга, давно ли... они веровали в будущее!.. А теперь все для них изменилось: Генриетта была замужем; Шульц прошел по всем ступеням разочарований художника. Кумиры его расшиблись в прах. Он ждал свидания с радостью и страхом.

В этот день шел проливной дождь. В восемь часов Шульц, окутанный плащом, звонил у дверей Федоренки.

Ключ повернулся в замке; дверь отворилась; Генриетта стояла перед Карлом. Сердца их сильно бились: они не смели глядеть друг на друга.

Молча вошли они в гостиную.

— Простите меня, — сказала Генриетта.

— Вам простить! — тихо отвечал бедный музыкант. — А какое право имею я укорять вас? Сдержал ли я свое обещание? Так ли я должен был прийти за вашим словом? Я нищий, нищий, повторяю вам, что я нищий! Дайте мне милостыню и прогоните меня...

Глаза Генриетты наполнились слезами.

— Вы несправедливы, — говорила она, — вы жестоки ко мне!

— Я вам говорю, что я нищий, — продолжал Шульц, — я вам говорю, что я нищий. Я учу грамоте детей, я забавляю мастеровых, я лгу и кланяюсь; я кланяюсь, когда меня толкают и бьют... Я вам говорю, что я нищий...

— Прежде вы были тверды против бедствия.

— Да, таков был я прежде, когда все прекрасное находило в сердце моем отголосок. Тогда я летал на крыльях поэзии в мире чудном, где все было чисто и светло. Теперь я устал: крылья подогнулись, я упал на землю.

— Оставайтесь на земле, Карл! На земле вы найдете бедную женщину, которая не менее вас страдала, женщину, которая предлагает вам, взамен прошедших обольщений, небесное возмездие возвышенного чувства. Вы не светский человек, Карл, вы поймете, что можно найти удовлетворение своим желаниям в чувстве возвышенном, а не в преступной связи. Я не могу, я не хочу забывать своего супружеского долга — не оттого, чтоб я дорожила

мнением толпы, не оттого, чтоб я боялась гнева этого ничтожного человека, которому меня бросили; но оттого, что я не хочу опорочить нашего страдания, которое должно остаться между нами чисто и свято; но для того, что я хочу остаться для вас вашим светлым вдохновением и сохранить вас для себя, как небесную отраду.

Шульц молча стал перед ней на колени.

— Неужели, — продолжала Генриетта, — неужели мы до того малы и ничтожны, что равнодушный расчет существа бездушного может отнять у нас все счастье наше, все наши горячие верования? Неправда, не верьте этому! Пускай свет нас оковывает в свои внешние формы, пускай он налагает на нас, бедных женщин, пятно чужого, ненавистного имени: у нас остается в глубине души святылище сокровенное, куда, без нашего согласия, никто проникнуть не может. Оно наше, наша собственность, наш мир, наше уединение от шума и волнения мирского. Никто не может располагать им без нас; никто не может отнять его у нас. Вы это поняли, Карл, потому что в записке вашей ко мне вы назвали меня

своей невестой.

— Да будет ваша воля! — сказал тихо Карл. — Вами моя жизнь, может быть, еще поддержится. Я был очень болен, Генриетта. Вчера мне казалось, что голова моя расстроивалась; мне вдруг становилось душно, и странные видения шалили в моей голове. Но это рассеялось теперь от вашего присутствия, как рассеиваются тучи от солнечных лучей. Не отнимайте у меня моего солнца, дайте погреть мне им душу! Без вас, я чувствую, жизни для меня нет.

— Приходите ко мне вечером, — отвечала Генриетта, — завтра, а там послезавтра, и каждый день. Свидания наши должны быть тайною; мы скроем их от всех, как преступление. Чувство наше должно быть полнее дружбы, выше любви. Оно немногим, весьма немногим было бы понятно. Мы его скроем как святыню — хотите ли?

Шульц сделался совершенным ребенком: то плакал, то смеялся. Радость и горе смешивались в голове его. Он глядел на Генриетту — и душа его таяла от какого-то горестного счастья.

Так прошел целый вечер.

Г-н Федоренко

Есть на свете особый класс людей: маленькие, пронырливые, они служили когда-то в отдаленных губерниях. Как они служили и что они делали в отдаленных губерниях — неизвестно; известно только, что они начали службу с десятью рублями и кончили с полумиллионом.

Окончив таким образом осторожно свое наживание, выходят они в предостерегательную отставку и ищут покровительства, чтоб не подвергнуться каким-либо неприятным напоминаниям; большею частью женятся они на воспитанницах знатных барынь и заживают припеваючи.

Муж Генриетты исключительно принадлежал этому сословию.

Он родился в Л... от коренного приказного и тринадцати лет был записан писцом в уездном суде. После способности его развились на обширнейшем поприще. Он уехал в Сибирь; там был и стряпчий, и советником, и в командировках, и менял места, и наконец, запутавшись в одном деле, угрожавшем ему неизбеж-

ным уголовным судом, свалил всю беду на своего сослуживца, а сам, за болезнь, вышел в отставку. Состояние было нажито.

Он искал связей. Случай сблизил его с княгиней. Мы видели, как он женился.

Человек более деликатный не довольствовался бы холодным обращением жены своей, но Федоренко был так доволен собой, что не обращал внимания на такие мелочи. Знать вскружила ему голову; восхищение его было невыразимо, когда ему случалось сидеть в театре подле генерала или играть в вист с вельможею. Он нарочно поселился подле княгини и каждый вечер, когда недоставало четвертого, имел честь играть с ее сиятельством и всячески старался проигрывать для поддержания ее благосклонности. Генриетта оставалась одна.

С некоторого времени он в особенности сделался чрезвычайно доволен и важен. Он сторговал — разумеется, как водится, на имя жены своей — прекрасное имение в Малороссии, то самое, где отец его, до вступления в приказные, был дворовым человеком. Это имение было всегда целью его желаний, и по

торгам оно оставалось уже за ним. День переторжки был назначен. Федоренко наскоро оделся, вышел в переднюю, надел байковый сюртук и начал надевать галоши.

— Тьфу ты, пропасть! — закричал он вдруг. — Что за дрянь! Калоши проколотые, испорченные... Чьи это калоши? Был здесь кто-нибудь?

— Никак нет, — отвечал человек.

Федоренко смутился. «Калоши мои, кажется: на ноге сидят хорошо. Да кто же их испортил? Неприятно! Я гадости этакой не надену. Пойду без калош — ноги замочу; можно простудиться, схватить насморк, кашель, пожалуй... Очень неприятно!»

Федоренко нанял извозчика и был очень недоволен целый день, тем более что переторжку отсрочили.

Одно за одним

А Шульц?.. А Генриетта?... Что было с ними? Они как будто ожили новою жизнью, и души их с новой силой вооружились против враждебной судьбы. Каждый вечер, когда Федоренко отправлялся к княгине поиграть или повертеться около ее виста, Генриетта отсылала свою горничную, дрожащею рукою отпирала дверь заднего крыльца — и Шульц с трепетом прокрадывался в ее уединенную комнату, и дверь за ними затворялась, и они оставались одни.

Но беседа их была чиста и безгрешна. Модный человек насмеялся бы вдоволь, глядя на них. Иногда они молчали оба; иногда Шульц рассказывал про свое детство, про старичка органиста своего незабвенного, иногда Генриетта припоминала и прежнюю жизнь свою, и первое знакомство с Шульцем, и посвящение свое в таинство музыки. Тогда Шульц садился у ног ее на скамейке и, глядя на нее с благоговением, сливал свой огненный взор с ее небесным взором. И в этом длинном, упоительном взгляде выражались и скорбь про-

шедшего, и счастье настоящего, и какое-то неясное упование на лучшую, неизвестную участь.

С тех пор как они сблизились, они ничего не желали: жизнь для них остановилась, все было забыто, кроме счастья видеть друг друга.

А между тем в Петербурге пронесся слух, что княгиня Г*** занемогла весьма опасно и что на консилиуме уже приговорили ее к смерти...

А между тем Федоренко с некоторого времени был очень встревожен и потирал себе голову. Имение на имя жены было куплено; казалось, все ему удавалось; одно его беспокоило: непрерывное превращение его калош — они то и дело что менялись в темном коридоре, где было его платье. И точно, это было очень странно: захочет ли он поутру в сырую погоду, например, идти погулять — вместо новых, прекрасных калош человек подает ему калоши испорченные и проколотые, а калоши, по-видимому, сделаны для него; разберит ли он человека и прикажет выбросить дрянь эту из окна, а на другое утро чело-

век приносит ему калоши блестящие, светлые, чистые, во всей первобытной красоте... Это его мучило; он сделался подозрителен.

Однажды Шульц сидел у ног Генриетты и держал ее руку. Лицо его было светло.

— Генриетта! — говорил он. — Никакое земное чувство не должно помрачить нашу любовь. Ее начала поэзия и перенесла в небо. Но мне как-то стало страшно: быть может, нам недолго оставаться вместе; а я не слышал еще из уст ваших слов любви; я боюсь умереть, не имев этого утешения. Вы помните, когда мы были в Вене, вы мне обещали и сердце и руку вашу. Вот и кольцо, которым мы обручились. Но ни раза не выговорили вы священных слов, которых жаждет душа, ни раза вы не сказали еще мне: «Карл, я люблю тебя...»

Генриетта задумалась.

— Если б что-нибудь земное, — сказала она, — вкралось между нами, вы никогда бы не узнали порога моей комнаты. Я достойна была понять вас, потому что я поняла вас. Но с нашей любовью... слова любви несовместны.

Они замолчали и взглянули друг на друга.

В эту минуту дверь настежь отворилась, и две калоши, влетев в комнату, с шумом ударились об пол. В дверях стоял Федоренко, багровый от гнева. Шульц вскочил с своего места. Генриетта закрыла лицо руками.

Федоренко злобно улыбнулся и подошел к музыканту.

— У каждого своя фантазия, — сказал он. — Вы не любите, чтоб нюхали из вашей табакерки табак, я не люблю, чтоб носили мои калоши, — слышите?.. Вы любите давать какие-то скверные концерты и ходить к чужим женам, а я люблю выпроваживать нахалов в окно — слышите ли?

— Стойте! — закричал Шульц. — Если дорожите жизнью!..

Генриетта бросилась между ними.

— Бррр... Дуэли, пистолеты — слуга покорный! Я с такими вертопрахами разведываюсь иначе. Дворника да кучера — вот вам и дуэль. Вон отсюда!

— Послушайте! — сказал задыхающимся голосом Шульц. — Выслушайте меня. Клянусь вам памятью моей матери, клянусь всем, что

есть святого в мире, что жена ваша непорочна.

— Бррр... Знаем мы эти шутки, господин музыкант! Мне сорок осьмой год. Старого воровья не надуешь!

Генриетта с гордостью взглянула на мужа и обратилась к Шульцу.

— Карл! — сказала она тихо и торжественно. — Я люблю тебя!

Слезы брызнули из глаз Шульца.

— Я люблю тебя, потому что ты не изменил себе, потому что ты душою был таким, каким быть должно: и прост и велик. Теперь мы больше не увидимся, но с чистою совестью я могу сказать тебе торжественно и свято перед этим человеком, которому меня продали: «Я люблю тебя!» Теперь, Карл, будь тверд: мы должны расстаться!

Она медленно приблизилась к Шульцу и коснулась чела его прощальным поцелуем. В голосе, в поступи Генриетты было что-то столь величественное, что Федоренко был как бы пригвожден к своему месту и молча пыхтел от злобы и досады.

Лицо Шульца покрылось смертною блед-

ностью. Он дико осмотрелся и выбежал из комнаты.

— Убирайся к черту, музыкант проклятый! — промычал Федоренко. — А вы, сударыня, не стыдно ли вам?.. И выбрать кого же, ничего музыканта, бродягу какого-то безыменного? Вот если б князя N... Не хорошо бы, а все-таки лучше.

— Я любила Шульца еще в Вене. Я говорила вам это перед нашей свадьбой.

— А-а-а! Так вот он, голубчик! Стыдно вам, сударыня! Полно вам с музыкантами тарабарить. В деревню, в деревню!

Дверь опять растворилась. Вбежал слуга в смущении с важным известием:

— Княгиня изволила скончаться!

«Вот те на! — подумал Федоренко. — Час от часу не легче! Одно за одним! Кто бы мог ожидать — а?.. Княгиня приказала долго жить. Теперь что в ней? Теперь, пожалуй, порастревожат кое-какие старые делишки — походатайствовать некому! Теперь того и гляди, чтоб наострить лыжи да убраться поскорее восвояси...»

— Сударыня! — сказал он громко. — После

того, что я видел, мне бы должно было прогнать вас без обиняков, тем более что теперь ваша княгиня... что в ней? Да дело в том, что бес меня подстрекнул купить на ваше имя имение. Теперь я с вами связан, а вы со мною. Хотите не хотите, а вы со мною будете жить. Я заставлю вас жить со мною — слышите? Извольте укладываться: вы со мною едете в новую деревню, в Малороссию. Впрочем, не бойтесь: там народ музыкальный, можно набрать там хоть целый оркестр.

Генриетта не отвечала ни слова: она лежала в обмороке.

Судьба

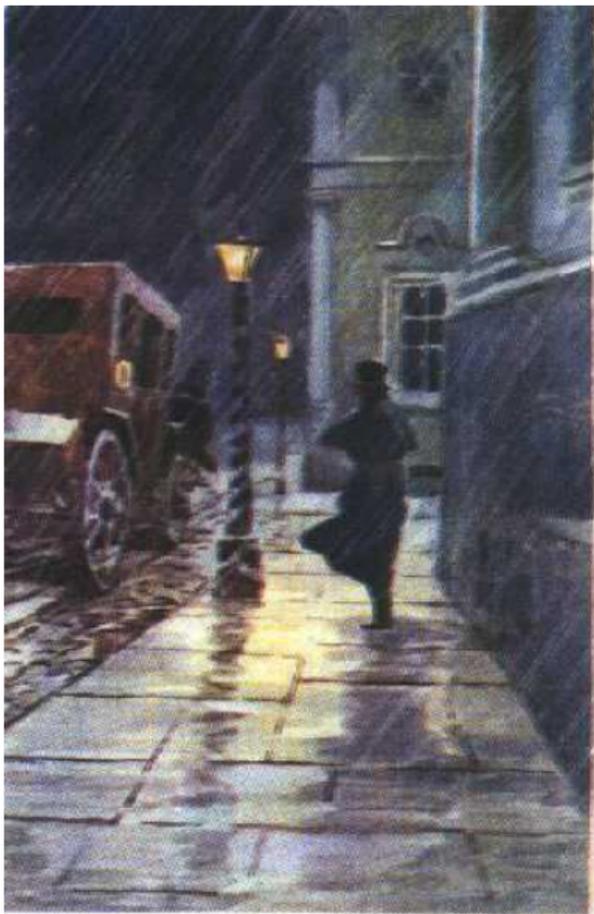
Дня три спустя, ночью, ветер уныло выл по опустевшим петербургским улицам. Коегде мелькали фонари в сырой пелене осеннего дождя. В окнах огни уже погасли. Из одних ворот выезжала дорожная карета.

У ворот стоял, сложив руки на груди, молодой человек в порыве сильной лихорадки. Дождь лился градом по его шляпе и платью, но он стоял неподвижен.

Когда карета с ним поравнялась, луч каретного фонаря упал на его обезображенное лицо; в карете послышался слабый женский крик; молодой человек хотел откликнуться — голос остановился в его груди. Карета медленно удалилась, ударяя мерно по мостовой. Стук колес становился все менее и менее слышен; наконец он исчез.

Все силы молодого человека, казалось, с ним вместе исчезли: он опустил голову и пошел.

Проходя мимо дома княгини, он невольно остановился. Подъезд был освещен; дверь открыта настежь. Он взошел. По черному сукну



тускло освещенной лестницы добрался он до верха. Первая комната была вся обтянута черным сукном с княжескими гербами. В углу какой-то родственник крепко спал на стуле, а дьячок молча тушил лишние свечи. Посреди комнаты стоял под бархатным катафалком малиновый гроб. В гробе лежала княгиня с от-

крытым лицом.

Молодой человек был как будто под влиянием ужасного продолжительного сна. Он подошел к гробу, сел на ступеньки пышного катафалка, у самых ног покойницы, опустил голову на руку и призадумался. По какому-то странному смещению мыслей он перешел воспоминаниями в ту комнату, где так быстро мелькнули лучшие мгновения его жизни, где он сидел, вдохновенный и страстный, подле своей избранной. Он как будто забыл все, что случилось с тех пор. Сердце его вновь наполнилось любовью. Генриетта предстала пред ним во всем чудном очаровании первой молодости, первой пылкой страсти: она глядела на него умилительно своими голубыми, небесными глазами, воздушная, прекрасная. Он мысленно загляделся и залюбовался ею.

Дьячок, увидев постороннего человека, опрометью бросился читать вполголоса свой псалтирь. Печальный погребальный говор дико согласовался с страстными мечтами Шульца. Свечи тускло теплились вокруг катафалка.

Картина была самая странная...

Родственник проснулся и подошел к Шульцу с беспокойным видом отчаянного наследника.

— Вы очень любили покойницу? — спросил он боязливо...

— Да, я любил покойницу, я люблю покойницу, — отвечал Шульц, очнувшись. — Я люблю покойницу, только не эту покойницу... Да простит бог вашу покойницу!

Родственник глядел на него с удивлением.

— Знаете что? Она... вот эта княгиня... княгиня она, что ли? Знаете, что она хотела со мной сделать?.. Она из груди моей хотела вынуть мое же сердце... какова-а?... О, да она прехитрая! Хотела опять притвориться и украсть его потихоньку. Да нет, я это притворство знаю; я знаю этих светских людей. Вы думаете, что она вас любит? Неправда, притворяется, все притворяется. Скажите мне правду: вы думаете, что она умерла? Неправда! Притворяется, притворяется! Все это притворство! И герб, и гроб, и катафалк, и вы сами... — все это притворство, все притворство!.. Прочь отсюда!

Шульц засмеялся и убежал.

Как испугался студент, когда увидел на рассвете товарища своего, изнуренного страданием и сильным бредом. Шульц оцупью дотащился до своей кровати и упал.

Члены его тряслись от лихорадки; несвязные видения душили его. То вдруг казалось ему, что злая Маргарита наклонялась над ним и грозила ему сжатым кулаком; то видел он вдали тень седого старика с красным платком около шеи, который мигал ему и, как фантасмагорическое явление, то отдалялся, то подходил близко и таинственно к себе манил. Вдруг показалось ему, что он перед каким-то огромным амфитеатром, на который собралась вся вселенная. И вот от имени всех Генриетта с улыбкой любви на устах, с потупленным взором подает ему венок лавровый — и в эту минуту амфитеатр рушится, а вместо зрителей толпятся черепа в калошах, которые мигают и шепчутся между собой... И вдруг все превращается в странный неясный хаос, среди которого Мюллер с своими сапожниками, княгиня с своим раутом и весь Петербург кружатся в каком-то адском, неистовом танце...

Так прошел целый день. Мучение час от часу становилось сильнее. Студента в комнате давно уже не было: он убежал за доктором. К вечеру явился доктор с студентом, бегавшим за ним целый день.

Доктор был человек веселый. Он взял Шульца за руку:

— Что, брат-приятель? Видно, плоха шутка, придется прогуляться в Елисейские![22] Жаль, что вы прежде не пришли, — сказал он, обратившись к студенту.

— Да я был у вас с самого утра, — отвечал студент.

— Да что же, брат, делать? На вашу братью не напасешься. У меня и поважнее вас, да ждут. Впрочем, тут делать нечего, — продолжал он протяжно, понюхивая табак. — *Inflammatiо cerebriалиs*[23] в высшей степени. Если б часа за два кровь открыть, то молодца можно было бы поставить на ноги. А теперь — шабаш! К утру он умрет.

И точно, к утру конвульсии Шульца стали мало-помалу утихать, дыхание его сделалось реже. Студент держал его на своих руках. Наконец он сделался спокоен, голова его покати-

лась на грудь... Все было кончено; студент перекрестился и закрыл страдальцу глаза.

В эту минуту кто-то постучался в дверях.

— Кто там? — закричал студент.

В дверях просунулась фигура Мюллера с узелком в руках: он принес новые, блестящие калоши, взамен первых, о которых он подумать не смел. Узел выпал у него из рук.

— Боже мой! Что это такое? — закричал он.

— Судьба! — глухо промолвил студент.

Мюллер подошел к постели, упал на колени и поцеловал руку усопшего.

В комнате было долгое, глубокое, таинственное молчание.

Наконец Мюллер встал, отошел с студентом в сторону и спросил у него с участием:

— Что, вы тоже музыкант?

— Нет! Я хотел посвятить себя литературе, да...

— Да что же?

Молодой человек печально покачал головой и показал на покойника.

— Что ж вы хотите делать?..

— Я схороню его...

— А потом?

— А потом... уеду к матушке в Оренбург.

Примечания

Впервые напечатано: «Отечественные записки», 1839, т. I, № 1.

Впоследствии Соллогуб написал пародию на собственный рассказ: (См.: «Новая история двух калош» — «Литературная газета», 1845, № 1).

[^^^]

2

Козлова М. Ф. - двоюродная сестра писателя, дочь известного переводчика и театрала Ф. Ф. Козошкина.

[^^^]

3

Да погибнут те, кто раньше нас высказал нашу мысль. Гете (*лат.*)

[^^^]

...надворному советнику... — чин VII класса; по «Табели о рангах» российские чины делились на четырнадцать классов, XIV класс — низший.

[^^^]

5

Наказанье божье! (*нем.*)

[^^^]

6

Такие прелестные калоши?.. *(нем.)*

[^^^]

С Малой Морской... к Синему мосту... в Коломну. — Малая Морская — ныне ул. Гоголя, Синий мост — мост через реку Мойку, Коломна — окраинный район Петербурга.

[^^^]

«Карл Шульц, музыкант» (*лат.*)

[^^^]

9

Перигурдин — старинный быстрый танец.

[^^^]

...о великом Бетховене... — Образ Бетховена введен в повесть, видимо, под влиянием В. Ф. Одоевского, большого почитателя и одного из первых пропагандистов творчества композитора в России, автора романтической новеллы «Последний квартет Бетховена» (1830).

[^^^]

Они учились вместе у Фан-Эндена. — Фан-ден-Энден — боннский органист (ум. 1782).

[^^^]

Здесь: низкопробна (*фр.*)

[^^^]

...для аспазийского ее салона... — Аспазия — жена прославленного афинского политического деятеля Перикла, отличавшаяся умом и изысканной красотой, в ее доме собирались поэты и философы.

[^^^]

Компаньонка ($\phi p.$)

[^^^]

...вариации Герца или концерт Калкбреннера. — Герц А. (1803–1888) — французский пианист и композитор, Калкбреннер Ф.-В.-М. (1788–1849) — немецкий пианист и композитор, в основном живший в Париже. Музыка обоих отличалась технической усложненностью и малой содержательностью, не случайно Ф. Лист назвал Герца и Калкбреннера «роковыми акробатами» (ср. реакцию героя).

[^^^]

...аплодирует прыжкам Турньера... — имеется в виду кто-то из династии цирковых артистов, ее основатель Жак Турньер (ум. 1829). был содержателем первого стационарного цирка в России (1827).

[^^^]

Добро пожаловать! (нем.)

[^^^]

Давай! (нем.)

[^^^]

Экоссез — бальный танец.

[^^^]

Англез — бальный танец.

[^^^]

Для немногих (*нем.*) — изначально название поэтических сборников В. А. Жуковского, выходявших очень малым тиражом, в переносном смысле — «для посвященных».

[^^^]

...прогуляться в Елисейские! — Елисейские поля — в греческой мифологии — загробный мир, место пребывания безгрешных душ; здесь иронически: умереть.

[^^^]

Воспаление мозга (*лат.*)

[^^^]